

*Ничто не в силах преуменьшить победу  
этих мужчин и женщин в городе, где,  
казалось, безраздельно царила смерть.  
История этих дней — эпопея, которая  
будет волновать сердца, пока на земле  
существует человечество.*

**Г. Солсбери**

— Ленинград для России всегда будет больше, чем городом, — сказал мне один из блокадников, ученый-эколог Дмитрий Иванович Вышкварцев. — В слове «Ленинград» заключен генетический код русской нации. Гитлер был далеко не глуп и понял главное: Москва — это сердце России, а Ленинград — ее душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда.

Он был прав. Говорю об этом с уверенностью, потому что двенадцать перестроечных лет работала в социальной защите Владивостока с так называемыми льготными категориями граждан: ветеранами Отечественной войны, малолетними узниками фашизма, репрессированными.

И — блокадниками. Эта самая малочисленная категория была и самой сплоченной. Они держались вместе не только в праздничные дни, но и в будни, помогая друг другу в беде и разделяя редкие радости. Особенно поддерживали одиноких и тяжелобольных. Большинство из них пережило блокаду детьми. Но были и те, кто воевал на фронте, спасал раненых в госпиталях, учил детей в школах. Они не любили рассказывать о войне. И все же согласились на интервью перед шестидесятилетием Победы.

Сегодня их, моих собеседников, никого уже нет в живых... Но слушая старые диктофонные записи, я не устаю восхищаться этим удивительным поколением, которое, несмотря на все превратности судьбы, остается поколением победителей. Сохранить человечность, любовь к своей Родине, способность сострадать и прощать — разве не свидетельство высокой победы духа?

Даю им слово...

### **Юлий Исаакович ЛОЗИНСКИЙ, военный врач:**

— Я учился на последнем курсе Первого Ленинградского медицинского института. Летом 1941-го мне исполнился двадцать один год. А в начале сентября всем студентам-медикам приказали явиться в военкомат. Нас переодели в военную форму. На петлицах была одна шпала: это означало, что нам присвоено звание военврача третьего ранга.

Направили меня в госпиталь для легкораненых, там лежали в основном моряки-балтийцы, знаменитая «морская душа». Госпиталь развернули в школе. Здание было старинным и ветхим: когда мимо шел грузовик, а тем более трамвай, — стены ходили ходуном.

Не прошло недели, как я попал под первую бомбежку. Был такой мирный, такой солнечный ясный день, березы только золотиться начинали. И вдруг над городом появились «юнкерсы», около двадцати. И — ни одного нашего самолета... Зенитки тоже молчали. На город в этот день сбросили сотни фугасных и зажигательных бомб. Сотни! Весь Ленинград окутали клубы дыма. Горел завод «Красный нефтяник» и Бадаевские продовольственные склады. И кто только додумался собрать весь стратегический запас продовольствия в одном месте? Все сгорело. Этот день, восьмое сентября, стал началом блокады города.

Аэродромы врага оказались так близко, что наши дикторы воздушную тревогу не всегда успевали объявить. Однажды слышу, по радио женский голос: «Граждане, внимание! Воздушная тревога!.. Ой! уже бомбят!»

С наступлением холодов радио работало все реже. Звучал только метроном. Если он стучал медленно — можно было идти по улице, если стук убыстрялся — приближались самолеты противника. Эти воздушные тревоги длились порой по двадцать четыре часа. Сначала, с семи утра до семи вечера, летали немецкие авиаразведчики, а ровно с семи вечера — хоть на часы не смотри — начинали гудеть бомбардировщики. Кроме бомб они частенько сбрасывали пустые бочки из-под бензина. Эти бочки летели на город со страшным воем, более жутким, чем рев авиационных бомб.

Обстрел из орудий был еще страшней. Я не раз попадал под него. Вы представьте: фашисты находились в десяти километрах от Невского проспекта! На городском трамвае можно было до линии фронта доехать. И все-таки дальше они продвинуться не смогли.

Помню, идем с другом по городу, ветрюга, холод адский. А на Адмиралтействе альпинисты работают: красят золоченый купол в черно-серый цвет. И до кораблика на куполе добрались, чехол на него надевают. Отчаянный народ! Мы смотрим и понимаем: сорвутся — никакие врачи им уже не помогут. А они работают — и хоть бы хны! А седьмого ноября, в День Октябрьской революции, мы стали свидетелями удивительного события. Над головами загудел немецкий бомбардировщик — и вдруг блеснуло что-то и с грохотом понеслось прямо на нас. Мы упали, залегли. А это над нами пронесся фашистский самолет и упал прямо в Неву. Наутро узнали: наш летчик на своем истребителе протаранил немца и пропеллером отбил у него хвост. Самолет упал, фашисты катапультировались в Таврический сад, где и были арестованы. А наш летчик Савостьянов приземлился на парашюте в Ботанический сад. Я потом про него стихи написал. Я тогда старался отразить все, что видел:

*В углу Таврического сада  
Лежит разбитый самолет.  
Над городом висит блокада:  
Тяжелый сорок первый год.  
Враг подошел почти на выстрел,  
Он штурмовал, грозил, бомбил.  
Он думал — город сдастся быстро...  
Но Ленинград сражался, жил.*

В декабре транспорт окончательно встал. Город сковали морозы и занесло снегом до подоконников. Зеркальные витрины в центре забили досками. Все крупные здания заминировали. В эти дни на улицах виднелись только редкие прохожие с саночками, а на санках — трупы, зашитые в простыни. Их складывали в штабеля.

Перед Новым годом немцы стали сыпать листовки с самолетов:

*«Эй вы, русские матрешки!  
Вы не бойтесь бомбежки.  
Чечевицу доедите —  
Ленинград нам отдадите».*

Но, знаете, настроение у нас было боевое. Мы с однокурсниками при первой возможности ходили и в театры, и на концерты в филармонию. Да и в госпитале организовали художественную самодеятельность. У нас Клавдия Шульженко выступала, пела свой знаменитый «Синий платочек» и песню «О любви не говори, о ней все сказано». А мы пели потом: «О еде не говори, о ней все сказано. Брюхо, полное еды, бурлить обязано».

Еды катастрофически не хватало, от этого у наших пациентов очень плохо срастались переломы и долго затягивались раны. У самих врачей и медсестер голодные обмороки становились обычным явлением. Наш начальник госпиталя требовал, чтобы при объявлении тревоги всех раненых отводили и относили в бомбоубежище. А школа была четырехэтажная. Матросам неохота было бегать в подвал, им осточертели бесконечные тревоги. И вот однажды начальник госпиталя спрашивает меня:

— Где ваши раненые?

А у меня их шестьдесят человек было, «моих», за эвакуацию которых я нес ответственность.

— Как где? — удивляюсь. — В подвале. Приказ же был...

— Да нет там никого! — обрывает меня начальник.

Я сбегал вниз и убедился: никого. Снова поднялся на четвертый этаж. Одна палата пустая, вторая... а в третьей — вот они, голубчики! Лежат под кроватями, замаскировавшись одеялами. Некоторые даже храпят...

Если серьезно, то условия работы нашей были очень тяжелыми. Холод, голод, отсутствие света и воды. Хирурги оперировали в ватниках и с фонарями «летучая мышь». Когда шел поток раненых с фронта — не спали по трое суток.

Кроме приема и лечения раненых мы все входили в команды МПВО — это гражданская оборона. Дежурить на чердаках и во дворе госпиталя приходилось сутками. Немцы сбрасывали «зажигалки», от которых мог начаться пожар. Как потом выяснилось, они специально охотились за госпиталями: забрасывали диверсантов, которые на крышах, прямо в водосточных трубах устанавливали сигнальные электрические лампочки. С земли их трудно заметить, а с самолета — отличный ориентир, который виден за двадцать километров. И немцы по этим лампочкам наносили бомбовые удары. В один госпиталь попала тяжелая авиационная бомба и сразу забрала жизни пятисот человек...

Хотите честно? Я никаких подвигов не совершал. Была изнурительная, до соленого пота и смертельной усталости работа, было ежедневное преодоление страха и выполнение своего воинского долга. Одним словом — война.

Третьего января 1942 года впервые повысили хлебные нормы до двухсот и трехсот граммов. А через несколько дней я получил приказ прибыть в штаб Московского военного округа, который находился в городе Горьком. Мы вдвоем с товарищем ехали на открытой машине по Дороге жизни. Длина этой трассы была сорок километров. Проехали половину пути, началась пурга. И мы вместе с шофером ночевали на трассе Ладожского озера. Утром подошли бульдозеры, расчистили дорогу, и мы выехали за кольцо блокады. Есть нам на продуктовых пунктах помногу, конечно, не давали, но буханку хлеба мы съедали вдвоем за десять минут. Кусочек ленинградского хлеба я все-таки вывез в вещевом мешке, но он быстро раскрошился и превратился в труху. Ее я тоже съел...

— Юлий Исаакович, некоторые историки считают, что Ленинград надо было сдать немцам, чтобы избежать жертв...

— Идиоты! — резко, без всякого политета отвечает заслуженный врач и полковник в отставке Лозинский. — Чего ради? И кого бы это спасло? Фашисты хотели уничтожить город, и они сделали бы это. Взяли бы Ленинград и с новыми силами рванули на Москву. Вы знаете, что они даже пригласительные билеты напечатали на трибуны Красной площади, на парад победы немецких войск? Они же не знали, с кем имеют дело. У них не было ни Николая Гастелло, ни Александра Матросова, ни Зои Космодемьянской. У них в словаре не было самого слова: подвиг. Зачем это слово захватчикам?

И в самом деле: зачем?

**Примечание:** *седьмого октября 1941 года командующий группой армий «Север» получил секретную директиву от Гитлера: «Капитуляция Ленинграда, а затем и Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она будет предложена советским командованием. Если жители городов попытаются их покинуть, они должны быть отогнаны огнем обратно. Сами города должны быть превращены в развалины огнем артиллерии и бомбардировками с воздуха. Это должно увеличить хаос в захваченных землях и облегчить управление и использование этих территорий после окончания войны» (Директива фюрера № 1601 от 22.09.1941 г. «О будущем города Петербурга»).*

### **Лев Федорович ГОРИН, лейтенант, командир пехотного взвода:**

— Наше пополнение прибыло на Волховский фронт после окончания Новосибирского пехотного училища. Было мне девятнадцать лет. До этого я учился на химфаке Томского университета. Вообще-то меня не хотели брать на войну: зрение — минус семь. По близорукости я был освобожден от призыва в Красную армию еще в 1940 году. Но летом 1941-го пошел добровольцем, по призыву Центрального комитета ВЛКСМ.

Среди лейтенантов я, наверное, выделялся своим сугубо гражданским видом. Очки большие, лицо худое, форма на мне болталась, а вихры торчали из-под шапки-ушанки в разные стороны. Наш командир роты только вздохнул и глаза закатывал:

— Горин, вы мне весь строй портите своим партикулярным\* видом!

Третий взвод, командиром которого я был назначен, в боях поначалу не участвовал. Наша 144-я стрелковая бригада 8-го гвардейского корпуса была предназначена для действий в тылу противника. Но это была война, рядом был Ленинград. И главным, основным нашим чувством быстро стал голод.

Половину скудного пайка мы, бойцы и офицеры, отдавали по негласному соглашению детям Ленинграда. Нам оставалось сто тридцать грамм сухарей и миска мучной затирухи либо чечевичной похлебки. В нее еще добавляли мох и кору, а также кусочки вымоченной кожаной амуниции. Таким был паек молодых здоровых мужчин. Их под моим началом было шестьдесят человек. Ровесников было мало, в основном — зрелые мужики от тридцати лет и старше. И самым старшим был мой ординарец Андрей.

Про него надо сказать особо. Он был коренной сибиряк, чалдон. Такой коренастый, крепко сбитый, жилистый. У него тело было как каменное. Порой при свете костра гляну на него, а он со своими острыми скулами, острой аккуратной бородой и вечным прищуром на какое-то древнее божество похож: несокрушимый и невозмутимый. Мне-то он стариком казался: как же, сына на фронт одновременно с ним призвали, сам говорил. А ему тридцать девять лет было. Для меня старик, конечно... Ох и намучался он со мной. Это я потом понял. Гонору во мне было много, а опыта — пшик. Вот и старался он меня сберечь. Может, в память о сыне... тот в конце сорок первого под Москвой погиб, ему жена написала.

Зима 1941–1942 года была лютая. Но палаток мы не ставили. Стелили на еловый лапник шинели, ложились все рядом и с головой шинелями укрывались. Четверо часовых сменялись каждый час, чтобы не замерзнуть насмерть. Кругом были болота, трясина. Едва отпустили морозы, как начала донимать промозглая сырость. А когда потеплело — напала мошкара, да такая густая, хоть топор на нее вешай.

Но притерпеться солдат может ко всему. Хуже было лошадям: они гибли от голода и холода, а также от снайперских пуль. Страшно было видеть, как зверели голодные люди, добывая бедных животных и срезая мясо с живых еще лошадей...

Когда перед первым боем нам дали сто грамм водки и миску супа с бараниной, я хотел съесть все сразу. Хорошо, Андрей не позволил. Половину содержимого отлил из миски в консервную банку и сказал, как отрубил:

— Нельзя, товарищ командир. Еще до боя в расход пойдешь. Молодым бойцам скажи, пусть тоже остерегутся...

\* *Партикулярный (устар.) — штатский, неформенный (об одежде).*

Но я не успел. Старшие сумели себя сдерживать, а те, кто выпил и съел все махом, уже корчились в кустах и стонали от боли... Взвод потерял почти четверть бойцов... Откуда мне было знать, что после хронического недоедания есть надо помалу и осторожно? От этого «усиленного» пайка ленинградские дивизии теряли той страшной зимой до трети личного состава, не успев начать наступление. Так что спасибо моему ординарцу: спуску он мне не давал.

Один раз мы с ним в Ленинград съездили, чтобы продукты в детский дом передать. Те, что сэкономили. Особенно радовало, что шоколад там был. Маленькие плитки настоящего толстого шоколада. Мы его только в руках подержали и решили: Новый год скоро, детям передадим. Вот и поехали. Город был белый и тихий, неживой. Весь транспорт стоял в сугробах. Люди скользили легко и неслышно, как тени. Словно в немом кино. Смотрим — саночки женщина везет, что-то белое завернуто. Так я подумал — это большое полено она завернула, представляете? Зачем, думаю? Воздух-то сухой, морозный. Даже ординарца спросил. Андрей тихо выдавил: «Дите это ее...»

Добрались до детдома, только отдали изможденной директрисе наши два мешка с подарками, как объявили воздушную тревогу. И пришлось вместе с нею в убежище бежать. Я там на детишек смотрел и думал: вот сейчас пересидим налет, вы вернетесь, а там — шоколадки. И прямо чувствовал вкус этого шоколада. Выходим из убежища, а через дорогу, где детский дом два часа назад стоял, — одни руины дымятся. Я рванулся было туда, но Андрей меня перехватил. Так и остались наши подарки под завалами. Больно и зло было на душе — не передать. Но своим бойцам мы решили не говорить: пусть хоть у них не будет этой горечи.

Нашу бригаду весной 1942 года перебросили на Северо-Западный фронт. И сразу начались бои. Последний свой бой под Ленинградом я запомнил на всю жизнь. Из четверых командиров взводов, моих однокашников, в живых тогда я один остался. И то благодаря ординарцу. Взводные, они же гибли первыми, поднимая бойцов в атаку. В процентном соотношении потери рядовых были в десять раз меньше. Вы, наверное, слышали, что из тех, кто родился в 1922 году, на войне уцелел один из сотни. Я как раз с этого года...

Мой третий взвод наступал последним. Немцы вели обстрел сначала из пулеметов, потом — из минометов. Положение с боеприпасами у нас было не лучше, чем с продуктами. На каждую винтовку — шестьдесят патронов, на автомат — два диска. При артподготовке на одно орудие — три снаряда. Объяснялось это тем, что снабжение четырех фронтов — Ленинградского, Карельского, Волховского и Северо-Западного велось по одной железной дороге. Добавьте Первую, Вторую, Пятую и Шестую ударные армии и сам Ленинград. Все объяснялось просто, но легче от этого не было.

Наконец я решил, что пора. И скомандовал:

— Броском — вперед! В канаву!

Поднимая бойцов в атаку, я получил осколочное ранение: мне выбило челюсть и оторвало часть языка. Ранение осложнилось контузией. Но, придя в себя, я решил, что смогу командовать. Рядом был мой связной-ординарец, я писал приказы на планшете. Зажигательными патронами мои бойцы подожгли в деревне дома, где засели немцы. Потом мы попытались атаковать церковь, но потерпели неудачу. Во время короткой перебежки меня снова ранило — в ногу. Патроны к этому времени у нас кончились. Остались автоматы, у которых по два диска к каждому. Хорошо, что подоспела рота пулеметчиков. Я передал командование их лейтенанту и разрешил себе покинуть поле боя. Ординарец, конечно, мне помогал. Когда отползли от деревни метров на пятьсот-шестьсот, я приказал ему вернуться. Он ни слова не сказал, но я до конца жизни буду помнить его взгляд.

Андрей спасал меня трижды: один раз от кукушки-снайпера прикрыл, второй раз из трясины вытащил. И вот — третий... Понимаете, я ПРИКАЗАЛ ему вернуться. Выиграло самолюбие мальчишеское: сам доползу, мол, до медсанбата. А ведь я его на верную смерть отправил. Из того боя почти никто не вышел. Но поступить иначе я не мог, понимаете?..

Мой ординарец повернул к горящей деревне, а я пополз дальше один. Вдоль поля тянулась канава: все-таки укрытие от шальных пуль. В этой канаве я натолкнулся еще на одного раненого, тоже командира взвода, которому осколком снаряда оторвало пятку. Едва двинулись с ним дальше, в канаву попала мина. Мы замерли, но она не разорвалась. За ней влетела другая — и тоже взрыва не было. Будь мы верующими — возблагодарили бы Бога. Но мы были комсомольцами. И когда пришли в себя, решили, что это работа немецких коммунистов.

Канавы кончилась, мы поползли по борозде. Поле обстреливалось, винтовки сильно затрудняли нам продвижение, мы оба потеряли много крови. Не рассчитав движения, я выбросил руку с винтовкой вперед и услышал крик. Я пронзил штыком рану своего товарища... Потрясенный, взвалил его, потерявшего сознание, на спину и пополз. Когда наконец остановился перевести дух, почувствовал, что вся шинель пропиталась кровью. Моего однокашника убил осколок — прямо на мне...

Похоронить его я не мог: сил оставалось совсем немного. Забрал медальон смерти и двинулся в мокрой от крови шинели к реке. А за нею белела палатка медсанбата. Меня, потерявшего сознание, нашли санитары. Одного из них я отправил за мертвым товарищем. А другой понес меня. Спустил метров тридцать он сгрузил меня на мох, сказал, что хочет по нужде, — и пропал...

Приполз я на КПП самостоятельно.

— Ну как там? — спросили меня, помогая сесть на табурет. Я взял бумагу, карандаш и написал: «Роты уже нет. Командир ранен, заместитель убит. Командиры взводов — убиты, я один остался».

Пишу и плачу, ничего с собой поделывать не могу...

***Примечание:** Битва за Ленинград продолжалась с десятого июля 1941 года по девятое августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В ней в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознаменный Балтийский флот, формирования партизан, а также ополченцы Ленинграда и области. Общие потери советских войск во всех этих боях составили около одного миллиона девяносто пяти тысяч человек, в том числе около девяносто тысяч человек убитыми (Большая Российская энциклопедия, БРЭ. Воениздат. Москва).*

### **Антонина Харламовна ЖУРАВЛЁВА, фронтовая медсестра:**

— Мой папа погиб под Сталинградом в сорок втором, двадцать третьего февраля. Ему было сорок два года. А мне только восемнадцать исполнилось.

До войны я училась на втором курсе медицинского техникума. В сентябре 1941-го добровольно пошла работать в госпиталь. Госпиталями была занята большая часть ленинградских школ. Раненых было невероятно много. Причем многие с газовой гангреной, заражением крови. Бои моряков часто шли на скалистых берегах, на песке. Песок попадал в раны и вызывал заражение. Чтобы спасти жизнь, им ампутировали руки и ноги.

Самое страшное, что, придя в сознание после наркоза, они не хотели жить. Их и перевязывать было трудно: они были тяжелы и беспомощны, а во мне — полтора метра росту и веса чуть больше сорока килограмм. Их надо было не только переворачивать, но поднимать на носилки, перекладывать на перевязочный стол. А он никакой не перевязочный: школьный высокий стол. Но самое страшное — их глаза. Как ни отводи взгляд — а все равно с ними встретишься. И плачешь потом от бессилия.

Ночью мы заготавливали перевязочный материал: салфетки, тампоны, шарики из ваты, скручивали постиранные бинты. Потом все это стерилизовали. Этого материала нужно было готовить тысячи тысяч. Ему просто не было конца, как не было конца раненым.

А еще нас посылали строить бомбоубежища, рыть траншеи два с половиной метра глубиной и настилать сверху бревна. Для тушения зажигалок мы заготавливали воду и песок на крышах домов. Их надо было затащить без лифта на высоту седьмого этажа.

Было страшно, когда похоронки шли в каждую квартиру нашего дома, да не по одной. И мне надо было спасать обезумевших жен и матерей с осиротевшими детками. Порой казалось, что на фронте легче: там этого крика и воя наверняка не было.

Ну вот... В феврале 1942 года я стала хирургической сестрой эвакуогоспиталя. Он находился совсем недалеко от линии фронта.

Я до войны хорошенькая была, говорили, что на артистку Целиковскую похожа. Но фотографий того времени у меня не сохранилось: это у нас считалось плохой приметой — фотографироваться на войне. Да и бледная я стала, худая, совсем без тела. Мучила анемия. Мы ведь работали по тридцать шесть — сорок часов, когда шли бои. Наркоз, который давали раненым, невольно вдыхали сами, стоя рядом с операционным столом. Никого уже не удивляло и не пугало, когда кто-то из нас падал в обморок. Мой хирург был намного старше меня, у него три дочки остались в Ленинграде. Так он перед началом операции наливал мне сто грамм глюкозы, добавлял две столовые ложки спирта — и приказывал выпить. И я пила, чтоб ноги не подкашивались и в глазах не темнело. Чтобы не подвести врача во время операции. Нас, сестричек, жалели, берегли — особенно наши руки. Заменить нас было некем.

Когда бой стихал, мы выбирались из операционной — и сразу падали, засыпая где придется. Спали, спали... если была возможность, то и по двадцать четыре часа. Нас с трудом расталкивали, чтобы накормить.

У нас ведь что самое страшное? Операция еще не закончилась, а раненый умер. Умер под твоими руками, на твоих глазах ушла из него жизнь... И все теряет смысл, понимаете?

Еще было страшно работать во время бомбежек: все тряслось и звенело в операционной, все дрожало и гудело. А потом становилось темно как ночью. И в это время включался движок автономной станции. Он стучал как сердце, с той же частотой. И лампы над операционным столом не гасли ни на минуту.

Расскажу один случай. Раненый — под наркозом, открытое операционное поле. У раненого остеомиелит — инфекционное воспаление кости. Хирург работает, мы рядом стоим, тишина. И тут я обращаю внимание, что кровь в операционном поле потемнела. Хирург работает, ассистент на наркозе стоит. Я не выдержала и говорю: «У раненого кровь стала темной». Хирург спрашивает: «Пульс?» Ассистент отвечает: «Пульса нет». Сняли с раненого маску, а у него пена изо рта и сердце остановилось. Хирург продолжает долбить кость, раненому делают массаж сердца, вводят роторасширитель, языкодержатель, чтоб язык не запал в горло, удаляют пену. Все делается спокойно, без малейшей паники. Наконец раненый застонал. Ассистент говорит: «Пульс есть!» Хирург хмыкает: «Да я уже понял. Давай наркоз». И так спасли матросика. Он был мой ровесник, как оказалось. После операции хирург маску снял, подошел ко мне и говорит: — Учись, девочка. У тебя получится.

А я думала, он и не заметил меня. Когда на следующий день я пришла в палату, наш раненый уже пришел в себя и ему сказали, что я подарила ему второй день рождения.

После этого случая хирург стал меня ставить рядом с собой. Учил, как обрабатывать незаживающие раны, осколочные ранения. Ведь раскаленные осколки сжигали края раны, и она долго не заживала. Надо было мертвую ткань обрезать. Обезболивающих средств хронически не хватало, раненым было больно, они матерились, особенно во время перевязок. Врач учил меня не обижаться. Но, правду сказать, парни старались мне не грубить. Держались из последних сил: вроде им стыдно было перед такой малявкой слабость выказывать.

Война могла для меня и раньше закончиться: было серьезное ранение и еще более серьезная контузия. Я три месяца молчала. И могла бы молчать до конца жизни, если

бы Марченко, мой хирург, не заставил меня заговорить. Я и сейчас не понимаю, как ему это удалось: гипнозом ли, приказом, верой в меня, мольбой, любовью... У него девочки — все три — умерли в городе. Последняя, младшая, — на его руках буквально, когда он приехал повидаться с ними в феврале 1942-го. А когда он вернулся в госпиталь — увидел меня контуженную.

Короче, вернулась я к операционному столу. И простояла за ним до февраля 1944 года, пока наши город не освободили.

Да разве все расскажешь?..

*Примечание: Двадцать второго декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Ею награждено около полутора миллионов человек. Двадцать шестого января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. Первого мая 1945 года Ленинграду — первому из городов Советского Союза — было присвоено звание города-героя (Военная энциклопедия. Воениздат. Москва).*

### **Олимпиада Михайловна ТОЛОКОННИКОВА, учительница истории:**

— Вы знаете, в блокаду у меня были удивительные ученики. За пятьдесят лет моей работы в школе таких не было ни до войны, ни после.

Это были очень взрослые люди. Все годы блокады не было ни шума на уроках, ни шпаргалок, ни слов о том, что не успел выучить. Они УЧИЛИСЬ, понимаете? Они хотели знать нашу историю, наше прошлое, чтобы победить. У них была анемия и дистрофия, цинга была. У них умирали самые близкие люди, и сами они умирали во время уроков — это уже не считалось чем-то из ряда вон выходящим, понимаете? А они сжимали губы, эти маленькие старички, и — слушали про Кутузова и Суворова, про Александра Невского и Багратиона... Я им говорила:

— Ребята, как историк, я хорошо знаю, что наш великий народ, когда поднимался против врагов, всегда одерживал победу. Победит и теперь!

Занятия в ленинградских школах начались в октябре. И я говорила своим ученикам:

— Ребята, мы начинаем занятия в необыкновенной обстановке. Наша страна ведет войну с сильным врагом. Наш город окружен, он стал фронтом. И то, что мы с вами продолжаем учиться, — это наш выбор. И это вызов врагу перед лицом всего мира.

Как мы учились? С ноября сорок первого занимались в основном в бомбоубежищах. Мы быстро приспособились: скамейки поставили друг против друга, а учителя ходили между ними и проводили уроки. Я вспоминаю эти уроки с чувством гордости.

Но вскоре для младших классов занятия прекратили: стало так холодно, что заниматься было невозможно. Тогда наши учительницы попробовали организовать занятия в квартирах первых этажей, поближе к бомбоубежищу. Они обходили родителей и просили посылать детей на занятия с поленом дров для того, чтобы топить буржуйки. А вечерами, часов с восьми, мы дежурили в школе. Там тоже не было электричества. Класс освещали коптилочкой, сделанной из чернильницы. Мы ее переносили из одного кабинета в другой.

Еще помню, как на Новый год нам выделили триста билетов на елку. Нужно было их распределить среди детей района. Дети и взрослые шли за ними непрерывным потоком. В конце концов, билетов на всех желающих не хватило. Отказ вызывал у одних тихое и глубокое огорчение, а у других — яростный протест. И неизвестно, что большее было по сердцу. Ведь там, в подарках, было печенье, карамель и даже мандаринки...

Пятнадцатого января мы пришли в школу: должны были возобновиться занятия в седьмых — десятых классах. И знаете, я была потрясена: пришли не только старшеклассники — те, кто был жив и мог передвигаться. Пришло тринадцать шестиклассников и даже трое пятиклассников!

— Ребята, зачем вы пришли? — спросила я. — Ведь занятия начнутся только для старших.



— А почему нам нельзя заниматься? Смотрите, нас больше, чем в девятом! Мы все, все хотим учиться! — сказали они мне.

Ну вот что тут скажешь?

А знаете, какой у нас был праздник в марте 1942-го? В городе дали электричество, и вдруг зазвенел школьный звонок! Лучшей музыки я в своей жизни не слышала! Нет, не так. Была еще лучшая музыка: крики и смех детей. НАШИ ДЕТИ КРИЧАЛИ И СМЕЯЛИСЬ:

— Звонок! Звонок! Ура-а!..

Мы, учителя, тоже улыбались: школьная жизнь входила в свою колею.

Незадолго до этого у меня появились признаки цинги. А на правой ноге, чуть выше щиколотки, проступил блестящий «браслет», словно от ожога. На левой ноге тоже, в том же месте, но слабее. В коленях появилась боль и тяжесть.

Хотите, я расскажу, что такое голод? Вот раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Я — русская учительница, ленинградка, а точнее — петербурженка в третьем поколении. Теперь я знаю, что голод изменяет людей не только физически, он меняет характер и привычки, искажает весь душевный облик, пробуждает животные инстинкты... Я видела, как наступает необратимый распад человеческой личности. К счастью, этих примеров было не так много. В январе 1942 года я поняла, что могу есть все. Мы ели подсолнечный жмых, варили студень, разрезая шкуры животных и кожаные ремни на тонкие полоски и добавляя столярный клей. Пекли блины из горчичного порошка на глицериновом масле, варили конопляные зерна от птичьего корма, соскребали мучной клей с обоев, добавляли в суп вазелин и торф, муку из рыбных костей и соевое молоко. Даже танковый жир, которым смазывают танки, шел в еду. Да, меня немного тошнило, когда я ела мясо кошки, но так хотелось есть, что и противное казалось вкусным. Да и мне ли одной? И кто в этом виноват? Это проклятая германская раса извергов. Поймите, я никогда не была злой. Я всем старалась сделать что-нибудь хорошее. А теперь я ненавидела этих сволочей за то, что они так исковеркали нас, нашу жизнь, наш город. И еще. Моя семья была верующей. Да, я была комсомолкой и все же думала: Бог есть. Я перестала в него верить, когда увидела, как умирают дети.

В 1942 году город совсем опустел. Все старались эвакуироваться, а я уговаривала маму остаться. Она очень боялась бомбежек. А я — нисколько. И не потому, что смелая, а просто верила, что меня не могут убить. Но в марте осколками от бомб разорвало на куски мою подругу Нину. Ее смерть что-то изменила во мне: она тоже была бесстрашной. И так хотела увидеть конец войны...

Знаете, что скажу напоследок? Самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они учились, несмотря ни на что, а вместе и рядом с ними навеки останется в истории города образ ленинградского учителя. Из мерзлых квартир, сквозь стужу и снежные заносы, они шли иногда километров за пять-шесть, а то и все десять. Шли в такие же мерзлые, оледеневшие классы. И одни учили, а другие учились.

Они стояли друг друга: учителя и ученики...

***Примечание:** блокада Ленинграда длилась восемьсот семьдесят два дня: с восьмого сентября 1941 года по двадцать седьмое января 1944 года. За эти годы погибло, по разным данным, от шестисот тысяч до полутора миллионов человек. Жертвами бомбежек стало около трех процентов населения, остальные умерли от голода...*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

С Олимпиадой Михайловной связана одна удивительная, почти мистическая история. Вскоре после нашего интервью ей исполнилось девяносто лет. От социальной защиты мне, «куратору» блокадников, поручили купить подарок. Ну что мы дарили ветеранам? Наборы постельного белья, чайные пары, термос... Я спросила ее по телефону: может, будут особые пожелания? Ответ меня потряс:

— Да особо, деточка, не заморачивайтесь. Если можно, купите куклу.

— ...Куклу?!

— Да, куклу. Любую. Лучше бы в длинном платье, но я понимаю... Видите ли, у меня была кукла в детстве. Такая барышня — в длинном платье, в кружевной шляпке и с зонтиком. Она мне от мамы перешла, а ей — от бабушки. Я очень ею дорожила. Она была для меня символом нашей семьи и ТОЙ, настоящей жизни. Понимаете? Но так сложилось, что у соседней умирала семилетняя девочка. Я пришла ее поведать, и она попросила у меня эту куклу. Она сказала: «Я только с ней поговорю немножко, с вашей дамой. Можно?» Так и умерла с ней в обнимку. Но она улыбалась, понимаете? Это важно, когда человечек уходит, улыбаясь. Когда ее мама хотела вернуть мне куклу, я не взяла. Сказала: «Похороните их вместе». Я поняла, что это важно: не забирать у ребенка куклу.

Ну вот... А сегодня она, эта кукла, мне приснилась. Наверное, мне скоро уходить...

— Да что вы, Олимпиада Михайловна!

— Все. Извините. Больше об этом — ни слова!

Под впечатлением разговора я шла по центру Владивостока. Вспомнила, что собиралась заглянуть в книжный магазин. И в центре магазина, построенного еще в позапрошлом веке, увидела стеклянную круглую витрину. А на витрине — несколько кукол. С фарфоровыми лицами, в длинных платьях, кружевных шляпках. Одна даже с зонтиком...

Я так долго ходила вокруг этой витрины, что мною заинтересовался продавец.

— Чем-то помочь?

Чем он мог помочь, спрашивается? Стоимость любой куклы в пять раз превышала сумму, которую мне выдали «на подарок». Да что там! моей зарплаты едва ли хватило бы на эту «барышню».

— Понимаете, — вдруг сказала я голосом Олимпиады Михайловны, — я из социальной защиты города. Могу я поговорить с вашим директором?

Директор, молодая дама, стояла на пороге кабинета в шубе. Мой визит ее явно не обрадовал. Но отступить было некуда.

— Добрый вечер! — бодро начала я. — Понимаете, нашей блокаднице очень нужна кукла. Но не любая. Именно такая, как у вас на витрине.

— Кому нужна кукла? — опешила дама в норке.

— Олимпиаде Михайловне Толоконниковой. Она всю блокаду учительницей работала.

— А... лет ей сколько?

— Девяносто будет. Через три дня. Давайте я вам все объясню...

В две минуты я изложила разговор с учительницей. Директриса задумалась.

— Вы можете сделать это с участием телевидения, — подсказала я. — В виде скрытой рекламы...

— Да какая реклама, — отмахнулась она, и на ухоженном лице бизнес-вумен проступило что-то очень теплое, бабье, домашнее. — Давайте так. Я позвоню хозяйке, она у нас, кстати, питерская. Может, что-то и порешаем. Телефон свой оставьте. И удостоверение покажите. Так надежнее.

Удостоверение я показала, конечно.

Назавтра она мне позвонила.

— Когда вы бабушку поздравлять идете? Послезавтра? А время? Отлично. Диктуйте адрес.

Никому ничего не говоря, я купила цветы, открытку и неизбежный набор постельного белья. В назначенное время мы с представительницей районной администрации пошли к Олимпиаде Михайловне домой.

Она сидела в своей «светелке» на кровати. Племянник помогал ей надеть пиджак с медалью «Житель блокадного Ленинграда». А рядом на столе стоял большой букет роз и... барышня с зонтиком.

— Проходите, девочки, проходите! Такой день сегодня! Сплошные чудеса! Я так люблю чудеса, понимаете? Вот сегодня с утра столько людей хороших: из Совета ветеранов, из краевой администрации, наши девчата приходили с тортиком. А потом явилась вот эта... барышня. Хороша, правда?

«Барышня» и впрямь была хороша: нежностями, с тонкой талией, в пышном темно-зеленом платье с кружевными оборками, в невесомой ажурной шляпке. И с маленьким зонтиком.

— Это кто вам такую красавицу подарил? — удивилась моя коллега.

— Волшебница! — Олимпиада Михайловна подмигнула мне, рассмеялась и пояснила учительским голосом: — Человек, которому нравится делать чудеса. Я права? Приходила очаровательная женщина, мы с ней долго пили чай и беседовали. Она сама из Ленинграда, у нее бабушка пережила блокаду на Васильевском острове. Они на Пятой линии жили, а мы — на Восьмой, представляете?

...Олимпиада Михайловна умерла через месяц после юбилея. Народу пришлось проститься много, слова говорили замечательные. Она ушла, улыбаясь. Похоронили ее вместе с «барышней».

Это важно, когда человек уходит с улыбкой...

### **Антонина Николаевна БАКИРОВА. В 1941 году — ученица первого класса ленинградской школы:**

— Мне было восемь лет, когда нас с мамой эвакуировали из Ленинграда. Мы на рассвете вышли из бомбоубежища вместе с другими блокадниками, сели в товарный вагон и поехали в неизвестность. Часа не прошло, как началась бомбежка. Помню перевернутые вагоны и трупы, которые складывали в штабеля. В одном из них была моя мамочка...

Меня ранило осколками в обе ноги. Санитары нашли меня и отвезли в госпиталь. После лечения я еще год там жила. Помогала стирать бинты, скручивать тампоны, раненным воду подносила. А инвалидом осталась на всю жизнь.

Через год эвакуировали меня с другими детьми в Сибирь, определили в детдом. Хороший был детдом, там нас лечили и кормили, учили и давали профессию. Только мы были другие. У нас глаза были как у стариков и кожа серая, морщинистая. Истощенные, вялые, мы не отвечали на вопросы. Помню, сидим в спальне на кроватях, как птенцы с одного гнезда: все дохленькие, наголо подстриженные, кожа на руках и ногах просвечивает.

В изоляторе нас держали месяц, пока мы на ноги не встали. Давали жиденький супчик и чай с молоком, а больным еще ложку рыбьего жира и молоко дополнительно. Много есть нам нельзя было: желудки уже все высохли, поэтому кормили по чуть-чуть.

Мы все кричали по ночам и хлеб копили, прятали под подушки. Не верили, что он не кончится. Знаете, как можно мгновенно вычислить блокадника? Он ест хлеб, отламывая маленькие кусочки и долго держа их во рту, чтобы продлить ощущение еды. И крошки в ладонь собирает очень тщательно. Это не выветрить, это — на всю жизнь.

Там, в детском доме, я снова пошла в первый класс. К первому сентября школу подготовить не успели, поэтому уроки проводили не в классах, а прямо в коридоре. Столы поставили в ряд: справа — девочки, слева — мальчики. Из девчонок никто не хотел садиться с краю, рядом с ребятами. Решили отдать это место мне. Я, несмотря на хромоту, в школе была как парень: боевая, драчливая и задеть меня нельзя. Вот после восьмого класса меня из нее и выпроводили. Пошла в ПТУ в Новосибирске, а потом по комсомольской путевке приехала во Владивосток, с которым навсегда связала свою судьбу.

*Примечание: На основании многолетних наблюдений за состоянием опорно-двигательного аппарата детей блокады, родившихся в 1930–1943 гг., можно сделать заключение, что пострадали они очень тяжело, вплоть до глубокой инвалидности.*

*Это связано с тем, что растущий организм не получал необходимые для роста костей витамины и микроэлементы. У всех, кто в детстве пережил блокаду, имеются изменения в позвоночнике и костях конечностей. Нередки судорожные реакции и припадки, связанные с необратимыми изменениями нервной системы. У этих детей в организме произошли и генетические «поломки», которые дают знать о себе в следующих поколениях (Из заключения Ленинградского НИИ травматологии и ортопедии).*

Невероятно, но факт: за годы блокады в Ленинграде родилось более девяноста восьми тысяч детей...

**Галина Александровна КИНКУРОГОВА, родилась в Ленинграде одиннадцатого ноября 1941 года.**

Казалось бы, что может помнить о блокаде человек, который родился в 1941 году? Но Галина Александровна рассказала удивительную историю, которую поведала ей мама.

— Отец наш ушел на фронт в первые дни войны. Похоронка на него пришла незадолго до моего рождения, и бабушка, пока была жива, маме ее не показывала. Бабушки не стало в январе 1942-го. Остались мы втроем: мама, брат Коля и я. Колю должны были эвакуировать по Дороге жизни вместе с другими детьми в феврале. Но он отбор не прошел.

— Отбор?

— Да. Кастинг такой, говоря современным языком. Специально для блокадных детей. Возьми веник и подмети. Или пройди от стенки до стенки.

— Первый раз слышу...

— А об этом и не рассказывали. Мама говорила, что всех блокадных детей вывезти было невозможно. Особенно тех, кто был совсем слабый. На сотню ребятишек — всего несколько человек взрослых. Кому за ними ухаживать? Кто хоронить будет? Поэтому и выбор был жестоким. Короче, мой шестилетний брат конкурс не прошел, его оставили в городе. Покормили какой-то похлебкой с кусочком хлеба. И повезли домой. Так он хлеб не стал есть, представляете? Зажал в кулачок и решил отвезти маме. Милиционер довел его до подъезда и спросил: «Сам до квартиры дойдешь?» Коля кивнул. Если бы он знал, что будет дальше...

Он почти поднялся до своего пятого этажа, но остановился отдышаться. Какой-то человек, спускаясь сверху, окликнул его: «Мальчик! Что это у тебя?». «Я несу маме хлеб», — ответил мой брат. «А ну покажи», — сказал человек. И Коля разжал кулак. Человек выхватил у него хлеб, в одно мгновение съел его и побежал вниз по лестнице. Коля, конечно, бежал за ним, кричал и плакал. Когда упал и понял, что не догонит, медленно встал и пошел домой. Потом он долго-долго плакал на груди у мамы, пока сумел рассказать, что случилось. А она гладила его по голове и тоже плакала. Потому что именно в это день у нее пропали продуктовые карточки. То ли обронила, то ли украли...

— Как же вы выжили?! Кто-нибудь помог?

— А чем поможешь? Соседи по коммуналке посочувствовали... хлебом поделились, но и все на этом. Обняла мама Колю, отдала ему последний хлеб, меня рядом на кровать положила и сама легла. Молчит, в потолок смотрит. А тут Иван Федорович зашел, сосед сверху. Коля его боялся: он такой суровый был. Брат мне рассказывал про него: голос густой, брови густые, глаза острые. Характер у старика был тяжелый. Он даже с собственным сыном поругался, когда тот на фронт уходил. Представляете? Да... Так вот, Иван Федорович с порога устроил маме разнос. За то, что она разводит панику. Сказал, что ее карточки были вложены в книжку, которую она у него на растопку просила. А потом так и забыла на столе. Отдал ей книгу с карточками, а брату — несколько кубиков шоколада, который сын прислал с фронта. И ушел. А через несколько дней умер.

— Он отдал им... СВОИ карточки?

— Отдал. Только моя молодая мама поняла это не сразу. Зато потом всю жизнь помнила. И нам рассказала. А я рассказываю вам.

Чтобы помнили...

Светлой памяти моих блокадников и родному их городу посвящаю эти стихи:

### *ЛЕНИНГРАДУ*

*Весь ты — Спас на крови,  
на костях безответных крестьянских.  
Но не к славе царей  
ты вознес свой заоблачный крест,  
не во имя вождей  
принял жребий, как титул дворянский,  
и, поправ смертью смерть,  
из летейской пучины воскрес.*

*С чем тебя срифмовать,  
чтобы не было слова «блокада»?  
Как поднять твоё небо,  
о сфинкс, пораженный тоской?  
Семь погостов хранят  
девятьсот Судных дней Ленинграда.  
Каждый день —  
в сотни, тысячи жизней  
длиной и ценой.*

*Вечный Спас на слезах...  
Кто листал твои скорбные святыцы,  
кто хоть раз услышал  
Пискаревский подземный набат,  
знает: в нашей стране  
есть особый народ — ленинградцы.  
А в истории русской —  
особый пароль:  
ЛЕНИНГРАД.*